Никита Янев

**Мелитополь**

*Пьеса*

Но кто мы и откуда,

Когда от всех тех лет

Остались пересуды,

А нас на свете нет.

Пастернак.

Действующие лица. Мама, папа и четверо их сыновей, которые не родились, родился только один, но он всё сделал за них, вот секрет деторождаемости, болезней и мастерства.

Гена Янев.

Или как я чуть не встретился со старым другом Эдипычем, дианевтом, американцем, работником с недвижимостью, репетитором у зажиточных подростков. Эдипыч когда-то тащил по жизни меня слегонца. То стеклопротирщиком в дом моды Севы Волкова устраивал (пока мы мыли стекла в его кабинете, он ломался перед камерой как целочка) в голодном 90-м, а может, в 91-м, а может, в 92-м, уже не помню. Еще заказы оставались, наборы для своих работников, выбитые оборотливыми снабженцами из дефицитных товаров. Тогда всё было дефицитным. Я уж не помню, что там фигурировало в наборе: масло сливочное, лососи в масле – но чувствовал я себя добытчиком, такое редкое чувство.

Веня Атикин.

Перед отъездом в Америку Эдипыч выдал свое кредо: жизнь – это приключение, ты пересаживаешься из «Тойоты» в «Ягуар» или из «Мерседеса» в «Део», это не важно. Редакция Карена Шахназарова, его модная в середине 80-х повесть «Курьер». А я ему прочел рассказ «Про дядю Толю и бабушку»:

 Финлепсиныч (читает).

«Я ехал после армии в Москву за тремя вещами: за тусовкой, за любовью и за посвящением. Это и есть – поэзия, философия и вера. Это и есть трехипостасность Бога и мира. Бог-отец, Бог-сын, Святой дух. Грубо говоря.

Никита (выхватывает).

Дядя Толя хмельной бьет крышкой кастрюли восьмидесятилетнюю старуху мать. Несильно, от озлобленности своей на мир. Но она старая и скоро умрет, а он как-никак сын и рядом и ухаживает, хотя бы тем, что рядом. Вот это и есть Бог-отец. И я это тогда почувствовал, когда был последний раз в деревне. Ветхий завет. Со всем: с ничтожным, низким, жалким, подлым, гнусным и вместе, почти тут же, великим, нежным, мягким, заботливым, жалостным, тонким, даже умным, всегда помня о том, другом. Все это есть сейчас в кондовейшем русском общежитье, но кто опустится на такую глубину праха, рассмотрит, покажет свету, что он еще силен, не весь еще сгнил. На манер того, вспомненного Розановым, обычая с вывешиваньем рубашки невесты и простыни на свадебном застолье во свидетельство силы жениха и непорочности невесты.

Гена Янев (выхватывает).

А я тогда не выдержал, психичка, этого постоянного подглядывания друг за другом и диктата, давления друг над другом. Влезания в душу друг другу. Хотя и понимал, что все это «фюзис», цветок, который так распустился теперь. Армия, метафизика, нигил. Все схвачено и все в связях. Нет ничего, кроме меня и я блюду всю прилегающую местность. Что это и есть Бог-отец, страшное и вместе, внутри ласковое рощение отцом сына, доморощение, домостроение.

И все это на нервном срыве. Не выдерживаю, сам блудник и психопат, подноготник еще пуще дяди Толи. С его двадцатью пятью годами службы водилой сержантом в милиции, пьянками, драками, замученной женой, умершей от рака. Дочерью – московскойсоветскойцарицейблюстительницейбалаженщинойхлебосолкойматерью.

Веня Атикин (выхватывает).

Профессиональным алкоголизмом, золотыми руками. Все делает сам, работая в милиции, шпаклевал богатым заказчикам полы, клал паркет, делал ремонты. В деревне выделывал все что нужно: грабли, сохи, мебель. Перекапывал два раза в год, весной и осенью, огород, огромный надел земли «лопаткой», все лето глудья на картошке разбивал деревянной самодельной колодой. Все это при полнейшем равнодушии к результату, урожаю, итогу. Лишь бы была бутылка или на бутылку и тема о чем поговорить, тот же урожай. С непременным переходом от благодушия « у дугу» к ненависти и драке, «кила болит, гудня б…..я» после.

Финлепсиныч (выхватывает).

Потому что в свое время, лет с одиннадцати, все лета проводил в деревне, и он меня выдрессировал на постоянной трясучке, ознобе, когда друг мимо друга проходили. Причем, ясно за что ненавидит, за то что рядом. Был бы рядом столб, и столб ненавидел, но живой человек лучше, больше поводов к ненависти. Он и рот раскрывает, и за себя когда-никогда постоит, чем еще больше раздражит, до швыряния камней, топоров, ведер, плевков в лицо. Удивительно, что еще будучи одиннадцатилетним мальчиком (я всегда был довольно хил), я всегда его побеждал, забарывал и сидел на нем в конце драки. Вот оно – бессилие гнева, перегорание всего организма в сухом огне самосожжения гнева.

Никита (выхватывает).

Да еще и моё нынешнее невоплощение, тоже уже исконно русское с возрастом. Неприкаянность, неприспособленность, ненужность меня жизни этой с людьми. Не выдержал и когда в очередной раз был «послан». Якобы помогал, картошку пропалывали. Хотя никакой помощи эмпирической, материальной ему не надо, но буквальная, чтобы кто-то был рядом. Он в этом нуждается больше других, один не может вообще, по крайней мере, раньше не мог. Может быть, теперь со смертью бабушки (матери) останется в деревне и привыкнет. Но вряд ли. Хотя, это было бы хорошо. По человечески. Но он бы спился окончательно. С соседями. Один по правую руку, Синель. Заросший густым синим волосом мужик, похожий на лесного духа, какого-нибудь кикимору или лешего раскорякой. Другой, по левую, Сербиян. Лет тридцати пяти. «Работать не хочет». «Не служил». Сбежал. Оба сидели, в деревне все пьют и спиваются. Люба, дочь, его заберет в Москву и дядя Толя будет пить и смотреть за детьми.

Гена Янев (выхватывает).

И вот когда послал в очередной раз, я не выдержал этого мнимого унижения и послал его тоже. Хотя года четыре уже не мог слышать мат, сидел дома и ненавидел вокзальную современность. Он бросил в меня комлем, я бросился на него и в прыжке сбил ногой, повалил на землю, вывернул голову, зажал рот, чтобы не смог плеваться, сел сверху, держал руки пока утихнет в буйстве бешенства и ненависти. Как будто и не было этих семнадцати лет. Армия, институт, одиночество, работа, литература. Ясно помню точный расчет движений в неподвижности мысли, когда бежал, когда прыгнул, когда толкнул ногой, чтобы упал. И полная неподвижность, как будто нет ничего, кроме этого «ничего» и узкой как нитка стрелы задачи – обезвредить.

Веня Атикин (выхватывает, читает и передаёт).

Не заступался, когда ругался матом при мне на бабушку, потом видит, что я ничего, а может и не следил, а само по себе, раз не останавливают, не говорю, стал вести себя как обычно, кривляться, гримасничать, бить, толкать. И бабушка плачет, и ясно видно, что все это по злобе и не по злобе одновременно. Так получилось. Бог-отец. И мое: пусть будет так как будет. Это хорошо и глубоко, нет ни малейшей силы, другой, поворотить, изменить что-либо. Но вот когда коснулось меня, только меня и одного меня и сам уже озлобился, что не дали почитать ночью и следят все время. Как будто и нет меня, а есть только они. Когда «оскорбили», так сразу бросился разоружать, заступаться за себя в себе.

Финлепсиныч (берёт, читает, передаёт, показывает, откуда надо читать).

Сразу стало всё легко, хорошо, понятно и ясно, как слез с дяди. Надо уходить. И весь простор, глубина и свобода «уходить» открылись. О, это мое всегдашнее уходить. Я всегда только ухожу от всех вещей и людей мира и жизнь свою построил так, что единственно твердым в ней осталось: еда, сон, редкие любовь, чувство, тетрадь (письмо), книга. А все остальное, другое, оставшееся почти все – уход, надвигающаяся пустота – уход от которой только к этим твердым вещам.

Никита (читает, не заглядывая, бросает на пол).

Спасительны мысли, воспоминания, чаянья, но это так редко приходит, а по- другому построить свою жизнь не могу.

Гена Янев (смотрит на лист на полу и читает по памяти).

А уходя, сказал бабушке, что подрались с дядей Толей. Садизм любопытства, бестактность тона, что то, что произошло сейчас с тобой космически важно для всех других. Бабушка заплакала и сказала, а как же она останется, и стала собирать что-то на дорогу. Я совсем без чувства стал «забирать её с собой». Понимал, что все это пустое. А она стала извиняться передо мной. Что она передо всеми виновата, восьмидесятишестилетняя старуха, родившая всех. Что она теперь это понимает и передо всеми извиняется. И я почувствовал, была в ней, в ее словах, и жалость к себе, но уже очень мало. Но главное, большое, не усталость даже, желание на все махнуть рукой, кинуть все, тем более, что ничего и не осталось, все попралось грубостью, жестокостью и холодом жизни. А Бог-отец. Как мы все со всеми нашими отношениями и несказанным перемешиваемся вместе с другими вещами мира в какого-то сказочного Бога-отца, который все время здесь, все время рядом, где-то сбочку, туточки, возле лица, за спиной, как смерть, на затылке, на темечке, как нимб священного сияния, за створом двери, за поворотом, за деревом, на ветке. В общем, везде и нигде конкретно, как вещь, как общая радость, на которую бы все могли придти, и показать пальцем, и надорвать животики, и облегчиться».

Веня Атикин.

Марина говорит, что поэтому он и позвонил теперь (Эдипыч). А по-моему, не поэтому. Ездил мимо Мытищ, вспомнил меня и позвонил. «Широк русский человек, я бы сузил». Его сужали до советского. И вот теперь на художественной выставке молодых художников России в ЦДХ среди прочих залов есть несколько таких как раньше, только вместо членов политбюро и передовиков производства – церковные иерархи и православные праздники. Похороны барабанщика, только вместо барабанщика георгиевский кавалер. А так все один к одному. Эдипыч узкий как шпага внешне. И очень похож на героев Достоевского: Петрушу Верховенского, Ивана Карамазова. А еще на Андрея Болконского. Вот так генезис. Из Владимира Ильича Ленина и Коровьева в пустынножители.

Финлепсиныч.

Димедролыч похож на Эдипыча. Почему я всегда дружил с такими? Только в Димедролыче больше моей порчи. Порченой крови. То ли перед тем как родиться, то ли во время, то ли после что-то пошептали на ухо – и человеческий детеныш сделался уже заранее чмо по жизни и целочка по совести. Мама каждый раз, когда я приезжаю к ней в чужой родной город Мелитополь, рассказывает историю, как бабушка Лена, папина мама, свекровь, ее проклинала и клеветала, потому что у нее была своя кандидатура невестки. А дальнейшее – как химические смеси, проявитель и закрепитель. Проявляют и закрепляют только то, что напечатлелось.

Никита.

И засаднили тридцать шесть лет, стыдно перед прохожими, собаками и кошками. И вряд ли это вина, что зарабатываешь мало денег и что неблагополучная семья. Терпенья не хватило. Тут уж не до встреч со старыми друзьями, не до поездок к матери, не до писем новым друзьям. Тут приходится делать самое главное. Писать рассказы, смотреть картины, подрабатывать грузчиком, разговаривать про прошлое, настоящее и будущее. На людей, на жизнь, на совесть, на веру уповать. У художника на этом просторе натюрморт, у меня память. Кроме этого, вопреки этому, вместе с этим я думал все время дальше.

Гена Янев.

Работы две. Это как два города или две жизни. Ты пишешь книгу о том как внутри и вместе, а снаружи и отдельно в это время что-то происходит. И в сущности это еще важнее, потому что есть славняк, есть голяк, есть сплошняк, есть дружба, есть любовь, есть вера, есть детство, есть мужество, есть старость. В детстве себя жалчее всех, любимого, потому что ты – ключ жизни. В мужестве ты можешь пожертвовать собой для наших, того, что ты понимаешь как продолжение. В старости мы готовы отдать свое, родное, теплое, наше для чужого и холодного, потому что это действительно всё вместе. Два города, две жизни совместились. А если не готовы, это просто безблагодатная старость, нас можно пожалеть.

Веня Атикин.

На самом деле иллюзий на сей счет не может быть. Помочь Эдипычу как агент по недвижимости не предлагается. Как репетитор также. Деньги на типографию не предлагаются. Просто старая дружба сводит счеты, что за эти десять лет произошло, что упустил каждый из нас? Мы меняемся местами и получается вместе жизнь. Эдипыч дает желание счастья, благополучия и успеха. Я даю трагичное счастье как остаток с тяжелой работы. Нет, не получается. И наверное, Эдипыч это почувствовал, и ему стало скучно. А потом изначально это была причуда. Мне интересно другое. Я всегда фальшивил в дружбе с Эдипычем. Что это ещё не мое, не родное, я еще не дорос и поэтому подыгрываю. А потом, когда уже заныривали в свои воронки, ощущали друг друга чужими, отталкиваться уже не надо было из разных жизней. Там по женам видно.

Финлепсиныч.

 Наташа московская. Марина мытищинская. Русская столичная женщина, волевая, в меру теплая, когда надо холодная, знающая что надо для счастья – семья и что надо для счастья семьи, ломающая судьбу под свой образ. Женщина – патриарх. Личные черты у Наташи немного кукольные, детские, но потом, вероятно, это проходит. Марина, прошу прощения за образ, ломовая лошадь, двухжильная. Работа, подработка, мать, дочь, школа, причуды матери, кружки дочери, всё на ней. Я как приходящий из психлечебницы на побывку муж. Когда недавно я принес пятьсот рублей за один день подработки грузчиком по Москве, они были как позолоченные для Марины. Она не знала куда их положить, чем их накрыть, что на них купить. Не банальные же мясные обрезки для собаки и фрукты для нас. «Да добытчики, да кормильцы, да куда же их посадить, да чем же их накормить». Сказовые причитания.

 Никита.

Здесь еще одна давнишняя детская дружба и еще один давнишний спор. Спор самолюбий, тщеславий и вер. Двоюродная сестра Люба, которая, собственно, и выписала меня в Москву. С одиннадцати лет, как умер отец, болгарская ветвь прервалась, я стал ездить на все лето к бабушке Поле в деревню. В то же лето первый раз выпил, побили, пытался влюбиться. Дядя Толя – старший у бабушки. Мама младшая. Дядю Толю выписал в Москву дядя Миша. Бабушкин брат, чуть не телохранитель Сталина. Мама тоже мечтала в Москву из Мценска. У мамы два наложившихся образа. Москва – приблизительно то, что у чеховских сестер. Восточный мужчина с иконописными чертами лица. Мама говорит, что ее кровать была под божницей, может поэтому. Дядя Миша скоропостижно скончался. Главное было не остаться во Мценске. Вся страна сорвалась с места и улетела за счастьем в города и на стройки. Для одних это деньги и выпивка. Для других это расплывчатый образ любви. Для третьих успех, благополучие.

Гена Янев.

 И вот, вместо Москвы – Мелитополь. Вместо Бога-Саваофа, папа болгарин, действительно, с иконописными чертами лица, представившийся на танцах как грузин. Болгар в Мелитополе не любили, он постеснялся своей национальности. Маме было всё равно. Она была в Мелитополе три месяца. Много русских женщин выходили замуж за инородцев и полукровок. Война выбила лучших мужчин, самых благородных и мужественных. Таким образом поправлялся генофонд. Приходили на танцплощадку в роскошном южном парке: акации, тополя, ивы, дубы. Но за ограду не заходили, то ли денег не было, то ли важно было глядеть со стороны. Группы ребят и девчонок. Две таких группы перемешались. Маленький черный папа приударял за светлой высокой мамой. Маме всегда нравились чёрные. Его оттирал высокий белобрысый друг. Он был обречен. Ночь проговорили на скамейке. Утром расстались, решивши жениться. Папа замерз, мама ему уступила кофточку. При расставании забыл отдать. Мама решила, что жулик. Папа, перепуганный, что приняли за мелкого сутенера, а не за будущего мужа, через два часа прибежал с кофтой. На следующий день белобрысый друг пенял папе, что у него были самые серьезные намерения, он хотел жениться. Папа отпарировал тем, что они отнесли заявление в ЗАГС.

Веня Атикин.

Мама через тридцать пять лет говорила, когда я заболел эпилепсией, чуть ли не наследственно. Какая-то темная история, что папе нужна была простушка из деревни, которая бы ничего не понимала в его болезни. Про болезнь мама ходила узнавать к старенькой заведующей медучилища, которое папа заканчивал после армии. Первым делом он ее повел не к бабушке Лене, а к ней. Сказал, что она близкий друг и как мать. Та дала добро, «Тебе такая подходит». Она сказала: «Ты до сих пор ничего не поняла, он кололся».

 Финленсиныч.

В Мелитополе это самая модная болезнь, как, впрочем, и везде. Тогда это была дикость. Помню, как я бегал к маме на работу во время папиного припадка, «вниз», в старый город, расположенный в котловине, как папу выписывали из психушки после особенно сильного припадка, мне было лет шесть. О, эта детская тоска, почему я не такой как все. Ставши комнатным писателем, через тридцать лет я напишу: «Тоска в животе, чмо по жизни, целочка по совести, ломать себя, подставляться для благодати». Все это как культурология папиных усилий, которые он до конца и сам не понимал.

Никита.

Я смотрю на свою фотографию с папой в парке возле центрального фонтана, мне года четыре. Меньше всего я похож на человеческого детёныша или образ несчастья чудится теперь напечатленным на черты. И кажется все будущее уже известно, и желание благополучия и успеха, и чаяние счастья просто юродивая тавтология рядом с таким человеческим горем. Это очень похоже на фильм «Сталкер». На Сталкера, на Мартышку и на жену Сталкера. Папа очень похож на Сталкера, настолько сильно, что кажется, что Сталкера надо переделать, сделать его слабее, порочнее, человечнее. Я на фотографии очень похож на Мартышку. Это ключ ко всему последующему, кличке «женщина» в школе, кличке «целочка» в армии. Вдруг откуда-то взявшимся стихам в институте.

Гена Янев.

Я демобилизуюсь, я пытаюсь скрыться,

Но безнадега, армия во мне.

Она за мной, как многоликий Янус.

Она вошла в дома, в деревья, в голос.

И гарнизонный дух во всем, и построенье скоро,

И мальчики дубовые стоят,

И в них тоска. И желтые разводы

В нестиранном белье. И самоволки в небо.

И женщины, с которыми так просто

Договориться. И казенный орден

За смерть другого. И топор, и плаха.

И так мне страшно видеть человека

Сквозь мутное стекло глухой команды,

Что я опять срываюсь и бегу.

И на бегу запоминаю только локти

И мутную полоску желтых лиц.

Я ненавижу лишние тона.

Веня Атикин.

Глазное яблоко, глубокое как комнат

За стекла уходящий томный мир,

Из наблюдения на улице, а так же,

Воспоминания зеленых водоемов

Собачьих глаз в гостях на кухне друга

Перелилось в меня и продолжалось

Короткими и яркими словами.

Так для письма по полостям предметов

Мне видимых мой взор предназначался

И был расправлен на клочке бумаги

Животною привычкой забирать

Вглубь омута зеленого, в глубины

Сетчатки и придатков сытых нервов,

Как некую добычу, все что свеже

Той новизной, нетронутой словами.

Благополучием пыхтящий двадцать первый

«газ», женщина с покупками, трико,

примерзшее к балконному канату.

Стекло подъезда, пропускающее в чрево

Той какофонии, что есть домашний быт,

Помноженный на цифру «сорок пять».

И все кивали, были тонки взмахи,

И в солнечных свободах словом дружбы

Я радовал затворницу судьбу.

Финлепсиныч.

Складки плаща целомудренно-девственной ночи.

Ночь покрывала пространство от неба до неба.

Ночь шевелилась огнями и плавала птицей.

Чёрным крылом отражалась в колодцах бессонниц.

Снами была, нечастыми, странными снами.

Ветки качала, врала в измененные лица.

Где-то в дороге мосты, города посылала.

Стрелочник ночь, маневровый трудяга.

На переездах грудила пустые вагоны.

В доме путейца глядела сквозь тёмные стекла

Вслед убегающим теням ночного движенья.

Ночь неспроста завела себе память.

Кто ты, поэт, не поэт, переводчик из речи

Капель дождя на стекле проходящих составов,

Дела ей нет. Все дороги стремятся

Снова в себя. Их поэтому дело

Быть незаметными в людях, в постройках, в работе.

Никита.

И на светящемся плацдарме остановки

Сухой сюжет, иль драка, иль лобзанье.

Чуть гуще листьев тень и есть минута,

Из проносящихся случайных лимузинов

Вдруг выпадет ответ твоей догадке.

Так словно ива деревом глядится

В хрусталь сосуда пруда или речки.

Так человек пред зеркалами ночи

Перемещенье освещенья вида

Форм мирозданья, так, нипочему,

Встающих, отражаяся друг в друге

Лишь на минуту мысленного взмаха,

Узнать себя и потерять себя.

А человек, он здесь не принимаем,

Ведь человек всё может полюбить

И жить всё дальше, дальше, хоть до неба,

Тогда как его дело быть собой,

Перемещеньем освещенья вида.

Гена Янев

И вот теперь эти двенадцать лет после стихов. Проза, не проза, работа, не работа. Соловки, Москва, грузчик, прессовщик, эпилептик, никто.

Веня Атикин.

Марина очень похожа на жену Сталкера, настолько, что жену Сталкера хочется переделывать по Марине. Она сильнее, спокойнее, она значительнее Сталкера. Впрочем, так и в фильме, хоть ей отдан всего один эпизод основной. Два других – его истерика и её истерика должны быть отданы Сталкеру. Она патриарх – юродства в ней нет. Да, были минуты слабости и даже предательство. Это как богоборчество. Ренессансный бунт. Это мощнее, чем беснование, беснование из другой эпохи, более поздней, глубокой, нигилистической. Это то, что связано с концом света. Ренессанс – середина света. Всё еще возможно. Мартышку я бы тоже переделал по себе, хотя Мартышка самая сильная по догадке о будущем. Что будущие обитатели земли для нас, нынешних обитателей, мутантов мегаполисов с апокалипсисами, уже не животных, еще не людей, тепленьких, просто несчастные уроды, пусть наделенные всякими там сверхчеловеческими способностями.

Финлепсиныч.

Т. е., тайна, зарытая в поле, советское деление жизни на наших и ненаших Тарковским разгадана, вслед за Христом и историей, разумеется. Поколениями христиан, отшатнувшимися в ужасе от Христа. Я бы порекомендовал перечитывать почаще Розанова, глубже философии, обнаруживающей надлом в двадцатом столетии не было. Не Хайдеггера, а Розанова. Пятьдесят томов проклятий христианства, пятьдесят томов презрения иудаизма. Человек остается ни с чем. Вот откуда нынешнее последнее геройство. Мусульманский радикализм с его подзорваться возле врага. Не нашим, не вашим. Ничего нет. Своей рукой стираю обе правды. И себя, и мир.

Никита.

А русские девяностые? Бандиты и милиция. Государство и зона. И неизвестно, кто страшнее. И неизвестно, что страшнее, чтобы твой ребенок был подъездный или чтобы твой ребенок был комнатный. Кто пожелает своему ребенку, чтобы он был нигилист. Кто пожелает своему ребенку, чтобы его чмили. Мы набросали свой образ и мир как компромисс, начиная с Ренессанса, до этого человек все же выбирал одну из двух правд. Господь Бог спрашивает у ренессансной личности, венца творения, перла создания, творца истории: «Что же ты выбираешь, мил-друг, бездну над тобой или бездну под тобой, себе и нашим или не себе и ненашим»? «Ты знаешь, Господи, - отвечает венец творения, перл создания, творец истории, ренессансная личность, - сейчас, в этот момент, когда ты меня об этом спрашиваешь, я и бездна надо мной, я и бездна подо мной, я и бездна во мне. Я и рай, я и ад, я и чистилище, возможность выбора. Давай не сегодня, давай завтра. Слишком велико волнение. Слишком глубоко решение. Слишком сладко мгновение». И вот, пятнадцатый век – ренессанс, шестнадцатый век – ренессанс, семнадцатый век – ренессанс, восемнадцатый век – ренессанс, девятнадцатый век – ренессанс, двадцатый век – ренессанс, двадцать первый век – ренессанс. Когда так долго выбирают, все понятно, что выбрали. Всем понятно. И Богу, и чёрту, и в особенности, ренессансной личности. Я смотрю на фотографию меня четырехлетнего с папой в парке чужого родного южного города Мелитополя и понимаю, что, в сущности, третья серия истории уже наступила. Эпоха Духа Святого. Что бездна во мне дороже всего. И можно из него построить два града, видимый и невидимый. Но дороже другое. Что все мы уже посвященные, мы уже катастрофические.

Гена Янев.

Можно ничего не говорить, можно тысячу лет воду пить,

Как там топорики, компьютеры, бандиты и секретари

Со скоростью света несутся в безвоздушном пространстве.

Ох зябко, ох грустно, если и вырвет, то опять же, пустотой.

А нам, что нам, немым толстовским мужикам

И говорунам нигилистам из Достоевского.

Нам, как всегда, на каторгу, здесь сроки всегда прижизненные.

И не надо ссылаться на страну, скоро на этой земле начнут собираться,

Если уже не начали.

Не потому что дюже крутая, а потому что другой нет.

А так ничего, и рыбка ловится, и у женщин очень длинные ноги,

И зарплату выдавать стали вовремя.

Только страшно, так страшно,

Что только противоэпилептическое средство «Финлепсин»

Поможет вам не прикинуться припадочным

И не сховаться за свою тень от Бога в бедре.

Из небытия восстают умершие и неумершие родственники

И по ночам приходят в гости, пока ты запираешь дверь на все замки

От здешних воров, Женьки Огурцова и Володьки Деминского.

У одного справка, что он сумасшедший, другой действительно юродствует

В чужом родном южном городе Мелитополе.

Кто из Польши, кто из Москвы, кто из Орловской области.

А ты думаешь, мне бы на Соловки, помянуть покойников.

А на Соловках из костей умерших зеков строят мотели.

Короче, опять обложили. Надо написать письмо Владимиру-Иосифу-Леониду,

Чтобы врезали «мало не покажется», положив начало новым репрессиям.

Мол, так и так, опять обидели маленького человека,

Гоголевского и пушкинского, которому, как всегда, деться некуда

От своей тоски в животе и генерал-аншефов сплошных,

Что в Мелитополе, что в Мытищах, что на Соловках.

И куда ему как не в воры в законе,

Как капитану Копейкину и Акакию Акакиевичу Башмачкину.

Даже помолиться негде, на воротах в святую обитель

Стоят охранники в черных беретах и пускают туристов

За семьдесят пять рублей, а монашек Никита

Только паломников и благословлённые трактора.

И только А. С. Пушкин знал «что делать?» еще двести лет назад,

Рассказывая свои литературные анекдоты и стреляясь на дуэлях «почем зря».

Потихонечку спивающийся Самсон Вырин,

А за ним тьмы тем отечественных закодированных

И лесковский дьячок, пропоица, даже за самоубийц молитвенник.

Как говорили древние пророки, «аще не прельпнутся уста мои, Господи».

Или несите скорее «Финлепсин» любезные покойные родственники,

Папа, тётя Надя, баба Поля,

А то дюже печально висеть на лестнице Иоанновой между землей и небом.

И земля назад не принимает говорливого нигилиста из Достоевского.

И небо не помнит имени немого мужика Толстовского.

Трясет седой головой, вертит ветхие скрижали, перебирает списки.

«Вас не значится, следующий».

Веня Атикин.

Вчера я стоял в очереди на станции переливания крови,

Когда мне сказали, что у меня не возьмут кровь,

Потому что я не местный.

Я обрадовался, обрадовался животно, а еще понял, что тело наш Бог,

А еще я увидел воочию, сколько людей лучше меня.

Тело боится высокого порога смерти и всё.

И всего, что с этим связано, без рассуждения, это рефлекс.

Рассуждение, созерцание, улучшение наступают потом, когда не страшно.

Я буквально вспомнил себя, детство, юность,

Главное ощущение, впечатление себя в мире.

И понял, что главное сейчас ломать себя.

Это совсем не философский вывод, это скорей позднее мужество.

Тогда увидишь что все спокойно, и зона, и община,

И малодушие, и мужество, и подставлять, и подставляться.

Просто немного побледнел, как сказал сын женщины,

Для которой я хотел сдать кровь, соседки мамы по палате,

У которой опухоль на матке и ее сегодня будут оперировать,

А полгода назад была опухоль в толстой кишке.

Надо было, чтобы сдали десять человек по четыреста грамм,

Ей нужно было перелить четыре литра крови.

Просто я холодный. Ах, как я узнал себя за это лето.

Только ради этого стоило ехать на Соловки и в Мелитополь.

Я слабый, кокетливый и припадочный,

Не теплый и не горячий, скорей играющий горячего.

Будь моя воля, я бы так и остался звездой,

А не прыгал сюда в этот сплошной животный страх смерти.

А еще я понял насколько я дальше после папы и мамы.

Что мама моя капризный, брезгливый и нетерпимый человек.

Я так говорю не потому, что устал за ней ухаживать,

А потому что внутри себя она другая, она как в тумане,

Как в дыме или в воде, опустошённая.

За этим стоит тысяча лет терпения

И сто лет строительства Царства Божия на земле

Народа, который последний был призван,

Пока еще шла речь о народе.

Кто бы потащил на себе все это нагромождение истории,

Которое можно назвать очень сложно: цивилизация, культура, империя,

А можно очень просто: подстава.

И здесь я опять вернулся на свой круг.

 Те парни, которые стояли в очереди,

Они лучше меня, как ни глупо это звучит.

 Потому что все спокойно, не слабо, не кокетливо и не припадочно.

 Я так говорю не потому, что презираю себя.

 Конечно, я не люблю себя, но от себя нельзя отказаться.

 Я - это не художественный экзерсис, я - это страх смерти.

Потому что чем неистовее прыжки от нее в стороны,

Тем отчаяннее погоня.

Марина или Двухжильновна, как я литературно скокетничал,

Лучше меня, потому что спокойнее.

А это значит, что страх смерти, вернее, его преодоление

Ей досталось в наследство от папы с мамой, а не как у меня

В моем колене его ломать или затусовывать.

Но этого я уже не могу, раз я понял, в чем моя болезнь.

Горлов или Димедролыч, Миша или Индрыч,

Оля Сербова, вечно влюбленная в нового мужчину,

Который оказался человеком,

То есть целым миром, целой бездной, какое открытие.

Которого, разумеется, надо вытягивать из собственного дерьма,

Не хуже сдачи крови удовольствие.

Эти ребята в очереди, которые какие угодно,

Тусовочные, нигилистичные, недумающие,

Но главное что они спокойные.

Мама всегда теряет сознание, когда у нее берут кровь

Или что-нибудь в этом роде.

Папа всю жизнь сдавал кровь, будучи медицинским работником.

Мама со злости разорвала все его дипломы после смерти.

У них вообще свои отношения с болью и даже со смертью,

Они гораздо больше клан, чем другие люди от этого.

Я про врачей, медсестер, санитарок и нянечек.

Ну, может быть, только меньше военных,

Которые вообще профи по части подставиться.

Я имею в виду настоящих военных,

А не те толпы полууголовных-полуподъездных животных,

Которых подставили без их на то воли,

Которые назывались советской армией.

Папу я совсем не помню, какая-то темная история.

Что папа был наркоман, рассказанная мамой,

Когда я первый раз заболел падучей в тридцать пять лет.

И мои смутные воспоминания каких-то припадков,

А еще чего-то спокойного, как у тех парней,

Чего я был абсолютно лишен с самого начала.

С каких-то пор мне это стало дороже, чем все остальное.

С самого начала я был какой-то запуганный

И обе бабушки, что русская, что болгарская

Водили меня к местным знахаркам,

Благо, что болгарская была ею сама.

Дело совсем не в перемешанной крови.

У половины народонаселения тогдашней империи

Была еще круче замешана кровь

На противоположных верах и обычаях,

Которые ведь в крови.

В ее физическом строении и химическом состоянии

Белка и протеина в плазме.

Мой гипотетический читатель, про белок и протеин я блефую,

Для меня это почти то же самое, что дымок и кофеин.

«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь»,

вовремя поняв, что дело вообще не в этом,

а в том, что как ни намешана кровь и как ни нашпигованы мозги

всякой хренью вроде гипертрофии и амнезии,

от которого по большому счету польза – понт.

Потому что главное решение вообще в стороне

от так называемого знания.

Что его спокойная усвояемость наступает потом,

когда принято решение.

Вот именно для этого отцу и нужен был наркотик,

Если он был, а не просто, инфаркт миокарда,

Как у Марининого отца.

Только у него - не дойдя несколько шагов до подъезда,

После службы заехал на новоселье к другу.

А у моего - во сне.

Чтобы все время подставляться, по крайней мере,

как я это понимаю через себя.

Что мне, слабому, кокетливому и припадочному,

Чтобы не возненавидеть себя, а следовательно, не презирать

Весь мир, всю жизнь, всех людей, включая Бога,

Нужно все время быть в припадке.

Только так я выберусь,

Потому что ни слабость, ни кокетливость не подходят,

Когда ты прячешься от себя, Бога и своего страха смерти

За собственную тень или играешь сильного.

Для этого я придумал вместо иглы писание, литературу.

Такое разбирание обстоятельств и событий жизни,

Когда ты все время видишь Бога,

А следовательно, знаешь как надо.

А дальше скорей надо сделать как надо,

Припадочной энергии на это хватит даже у слабого меня.

Приблизительно такие мысли или около того

Колотились в моей голове, когда я стоял в очереди

Среди спокойных юношей на сдачу донорской крови.

Все как всегда было страшно обыденно.

И качок непосредственно за мной тихо матерился,

Что сестра слишком много болтает

и слишком медленно отпускает.

Разговоры про льготы, горячий чай, вино в кафе «Смак»

И семнадцать гривен в этой местности

Просто смешны в наше время.

Просто, кажется, никогда я не был так близко

Не от истины, нет, к черту эти рыбьи плаванья в водах истины,

После которых рождаются только научные данные

Как аборты после подростковой любви.

Никогда я не был так близко

От правдивого рассказа как я переставал быть

Слабым, кокетливым и припадочным, который я пишу полжизни.

Но кровь не взяли, у неместных кровь не берут.

И я сразу стал слабым, кокетливым и припадочным,

Каким не был с тех пор

Как дрался с подростками на монастырском причале,

Что на Соловках,

Что они сказали, «не ссыте», на моих жену и дочь.

На себя бы я снес, просто бы втянул голову в плечи

И сделал вид что задумался или не слышал.

Финлепсиныч.

Есть две основополагающих или настоящих русских книги,

Написанных почти в одно время.

Роман в стихах «Евгений Онегин», поэма в прозе «Мертвые души».

Между которых бьется современный человек и доныне,

Как литературный герой между двух бездн,

Бездной ада и бездной рая в сумерках просвещения.

И которые мне нужно было иметь

В моем нынешнем Мелитопольском заточении

После Соловецкого стояния и Мытищинского сидения.

Так громко и нескромно о себе,

Но это тоже похоже на всеобщую болезнь,

Для которой я здесь и очутился

Совершенно неожиданно для себя.

Думал, никогда мне не вернуться назад,

А оказалось, что это моя болезнь

Не в меньшей степени, чем мамина

Или чья-либо, а даже в большей.

Поскольку я пишущий человек,

Т. е. публичный, выставляющий напоказ

Свое как чужое, выворачивающийся наизнанку,

Кокетничающий, играющий

Со своей слабостью, выдающий её за силу,

А могущий только это, замах на рубль, удар на копейку.

Но такое юродствующее, припадочное поведение

Разве не показ настоящего положения вещей,

Что мы запутались, сами себя затащили в ловушку,

Чтобы не выбирать.

Мамина болезнь «Мертвые души».

Вокруг сплошной голяк, ничего нет.

Что я с малолетства чувствовал как себя,

Будучи мастером западлеца.

Если ты пойдешь в лес за грибами,

То тебя там изнасилуют.

Если ты купишь в магазине тушенку,

то можешь не сомневаться, что она из человечины.

Если вокруг тебя живут люди,

То они тебя обязательно подставят.

Что можно жить на пустоте, окружив себя бутафорскими,

Фанерными изображениями людей, вещей и событий.

Это болезнь предыдущего, актерствующего

Шестидесятного поколения наших родителей.

Ах, как я перенервничала, когда узнала, что он умер,

Говорила Маринина мама, когда узнала, что соседа Костю

Убили за доллары.

А он как перенервничал, когда узнал, что умер, ответил я.

Хлестко, но ничего не значит, потому что всегда есть дальше

И наши дети выбирают своих бабушек, а не нас в воспитатели,

Жен наших отцов, поумиравших в тридцать восемь.

Бывших за ними как за каменной стеной,

Как рыбы в море или птицы в небе,

С женственными движениями и органичными мотивами,

«перевернись на спинку, чтобы животик тоже загорел».

А мы читали книжки как заведенные

И не хотели туда, в тьму внешнюю жизни

Из своих сумерек просвещения. И до сорока лет

Были на родительском иждивении.

Пока не выросли наши дети, которые выбрали наших родителей,

А не нас в учители жизни.

Мы-то кричали, что мы геройные, а они актерские

И лупили детей по попе, рассказывая как надо.

А бабушки просто после смерти мужей,

То ли уходили в себя, то ли впрягались в воз.

И это уже «Евгений Онегин» с его вдруг выпрыгнувшими

Из кокетливой светскости христианскими заповедями.

Прежде чем научить ребенка

блестяще рисовать и непошло мыслить,

научи его как ты устаешь на б…й службе,

умерщвляющей не хуже героина

все потребности, кроме последней, любить.

Никита.

Еще я хотел рассказать про местного юродивого

Володьку Деминского.

История юродства та же,

Что генезис эпилептиков у Достоевского.

Сначала это почти Христос князь Мышкин,

В конце это Иуда Смердяков.

То же в Мелитополе. Он поет «Моя Украина»

И кричит, что ненавидит русских.

Рычит по-звериному, мочится в подъезде,

А все молчат и терпят.

То ли не хотят связываться, то ли он очень хитрый,

Как Смердяков, перехитривший себя,

Здесь та же болезнь.

Произвольно переключаемая с фашистского бреда

На обыденный монолог речь

И отчаяние запутавшегося в себе человека,

И где-то в перспективе петля.

Страшный мамин подъезд,

Косящие под безумных пьющие мужчины

И тихо сумасшедшие скопческие женщины.

Неудивительно, что мое любимое место в городе

Больница, за месяц почти что жизни в ней

Вчера впервые я услыхал слова настоящего жлобства.

«Я за тобой ходила три недели, теперь его очередь».

Слова старшей дочери своей матери на своего брата.

Потом оказалось, что как всегда

За этим стоит человеческое несчастье.

Что они от разных отцов

И она старше него на восемнадцать лет.

Что он женился на евреечке и уехал в Израиль.

Живут зажиточно, два дома – там и здесь,

Две машины – там и здесь, и так далее.

А у нее жизнь не сложилась. Это она рассказывала всю ночь,

В палате с выключенным светом, ухаживая за матерью.

А моя мама слушала и плакала, потому что было жалко,

То ли ее, то ли себя, потому что судьба похожая,

То ли всех людей.

Все хозяйство было на ней, дом в селе, огород, скотина.

И вот она убежала в город для лучшей жизни.

Вышла замуж, родила дочь, муж рано умер или бросил,

Я уж не помню.

Дочь вышла замуж, родила больного ребенка,

Дальше идут разоблачительные

Фамилии врачей, которые изуродовали ребенка,

Потому что тащили щипцами за голову.

Ребенок не разговаривает, не понимает, не ходит,

Только сидит, ест и испражняется под себя.

Дочка его бросила на мать и вот уже тринадцать лет

Она за ним ухаживает.

Разумеется, никакой личной жизни,

А у дочери жизнь не сложилась и во втором браке

И матери, вернее своему сыну, она не помогает.

Я хотел сказать, вот видишь, и здесь оказалась своя запазуха,

Что, может, сволочей-то и вовсе нет, включая Гитлера и Сталина.

Есть только запутавшиеся и несчастные.

Что, может, поэтому Христос

Целует предающего его на мученическую смерть Иуду.

Но мама уже рассказывала, как ей папа рассказывал

Про своего друга по пьянке хирурга имярека,

Который оперировал всегда подшофе,

Стряхивая пепел с сигареты во вскрытую полость.

И как зашивали салфетки и перчатки в животе.

А я переводил с местного на общечеловеческий,

Что очень тяжело, будучи профессионалом,

Что водителем, что президентом, что хирургом, не скурвиться,

Потому что, с одной стороны,

Ответственность затусовывается голяком жизни,

А с другой стороны, трудно жить семьдесят лет

В аварийном режиме, нужна компенсация,

Перспектива ближайшей радости, вино, женщины, наркотики.

Я манкировал еще одним своим призванием после варки борща,

Быть «аблакатом – купленной совестью»,

Могущим понять, объяснить и простить

Любой грех и любое преступление как местный колорит.

Этот разговор происходил, когда я, чтобы уговорить маму

Поехать пожить с нами после операции,

Рассказал, что женина мама, дочкина бабушка, а моя тёща

Травилась пятьюдесятью таблетками «Феназипама»,

После того как я ей рассказал, что ей все равно какой

Будет её внучка, женина дочка, а моё поприще.

Так уж получилось, сидел, писал книжку

И смотрел за ребенком, был домохозяйкой.

Что ей лишь бы не быть одной. Это мы с ней так дрались

За ветхозаветное бессмертие, Авраам родил Исаака,

Исаак родил Якова.

А потом после годовой самоссылки на Соловки

Заболел падучей. Мама лежала и плакала

И сначала ничего не могла сказать, горловая судорога,

А потом рассказала про женщину,

Соревнующуюся с единоутробным братом

Кто больше ухаживал за матерью.

Главная моя работа теперь, это не выходить маму,

Подумал я, а не сойти с ума от такой жизни.

Так что моё писание, как всегда, единственное спасение,

Не столько для литературного заработка,

Сколько для чистой совести.

Как же люди могут жить в таком дерьме?

# Для благополучия? Для детей? Или для рассказа о том, как мы

Чуть не сошли с ума, но все же остались людьми?

Удивительное чудо.

Папа.

Марина, разве я могу променять тебя на отечественную словесность, ведь ты дала мне всё, начиная с крова, заканчивая пропитанием. А что мне дала отечественная словесность?

Мама.

Никит, по-моему, ты – еврей.

Папа и мама.

Это когда у неё выходной и она встала и принялась ходить мимо, и он бросил писать, и она сказала, не обращай на меня внимания, работай. А ведь она не знала, что он писал рассказ про то, что есть только две правды на свете: «весь мир кабак, все бабы бляди» и «себя ломать, подставляться, для благодати».

Мама.

Мне удивительно, что будучи самым большим писателем современности, человек не умеет правильно разговаривать по-русски, не зв-о-нишь, а звон-и-шь.

Папа.

Мне удивительно, что, будучи столь умной женщиной, человек не понимает, что лексическая, грамматическая, синтаксическая и прочие нормы живого языка находятся в непрерывном движении.

 1988 - 2008.